



Что можно рассказать о девушке, которая умерла в двадцать пять лет?

Что она была красивая. Яркая. Любила Моцарта и Баха. Армстронга. Битлов. И меня. Однажды, когда она нарочно свалила меня в одну кучу с этими музыкальными типами, я спросил, в каком порядке располагаются ее привязанности, и она, улыбнувшись, ответила: «В алфавитном». Я тоже улыбнулся тогда. А теперь сижу и гадаю, как я значился в ее списке: если по имени, то я шел следом за Моцартом, а если по фамилии — вклинивался между Армстронгом и Бахом. Так или иначе, первым я бы не оказался. Глупо, наверное, но это меня разозлило до чертиков — ведь я вырос с убеждением, что всегда должен быть первым. Семейное наследие, понимаете?

На последнем курсе, осенью, я зачастил в библиотеку Рэдклиффского колледжа. И не только ради того, чтобы поглазеть на девочек, хотя, признаться, любил это дело. Просто место это было тихое, никто меня там не знал, да и спрос на книги у них был поменьше.

До очередного экзамена по истории оставался всего один день, а я еще не заглядывал даже в первую книгу из рекомендованного списка — типичная гарвардская болезнь. Я подошел к стойке, чтобы получить очередной фолиант, который должен был выручить меня на следующее утро. За стойкой стояли две девочки — одна длинная, с фигурой теннисистки, другая — мышка очкастая. Я выбрал четырехглазую.

— У вас есть «Закат средневековья»? — спросил я.

Она кольнула меня взглядом:

— А у вас есть своя библиотека?

— Послушай, Гарвард имеет право пользоваться Рэдклиффской библиотекой.

— Я говорю не о праве, Академик, я говорю о совести. У вас там не меньше пяти миллионов томов, а у нас несчастных несколько тысяч.

Черт, нарвался! Одна из высокомерных девиц, которые думают, что раз в Рэдклиффе учится впятеро меньше народу, чем в Гарвар-

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

де, то эти девчонки впятеро умнее. Обычно я таких с грязью смешивал, но сейчас мне позарез нужна была эта чертова книжка.

— Послушай, мне нужна эта чертова книжка!

— Не будете ли вы столь любезны избежать сквернословия, Академик?

— С чего ты взяла, что я ходил в частную академию?

— А у тебя на физиономии написано — богатый и глупый, — сказала она, снимая очки.

— Ошиблась, детка, — возразил я. — На самом деле я бедный и умный.

— Э, нет, Академик. Это я бедная и умная.

Она смотрела на меня в упор. Глаза у нее были карие. Ладно, может, на вид я и богач, но я не позволю какой-то нахальной девчонке — даже если у нее красивые глаза — называть меня дураком.

— Из чего это видно, что ты такая умная?

— Хотя бы из того, что я никогда бы не пошла с тобой в кафе.

— Да я бы тебя никогда не пригласил.

— А вот из этого, — заявила она, — и видно, что ты глупый.

Теперь объясню, почему я все-таки повел ее в кафе. Хитроумно капитулировав в решающий момент — то есть притворившись, что мне вдруг жутко захотелось выпить с ней ча-

шечку кофе, — я получил свою книгу. А так как мышка не могла уйти до закрытия библиотеки, у меня вполне хватило времени усвоить несколько глубокомысленных фраз о том, как в конце одиннадцатого века королевская власть все чаще искала поддержку не у духовенства, а у законников. На экзамене мне поставили «А»* с минусом — как раз на столько же я оценил ножки Дженни, когда она впервые вышла из-за стойки. Не скажу, однако, что я столь же высоко оценил ее костюм — чуть-чуть слишком богемный на мой вкус. Особенно мне не понравилась какая-то штуковина в индейском стиле, которая заменяла ей сумку. К счастью, я не сказал об этом вслух — потом я узнал, что фасон придумала она сама.

Мы пошли в «Гномик» — маленькую бутербродную неподалеку, куда, несмотря на название, пускали людей не только маленького роста. Я заказал два кофе и еще шоколадное пирожное с орехами и мороженое (для нее).

— Меня зовут Дженнифер Кавиллери, — сказала она. — Я американка итальянского происхождения.

Как будто я сам не догадался бы.

* Высшая оценка в университетах США. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика.)

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

— Я специализируюсь по музыке, — добавила она.

— А меня зовут Оливер, — сообщил я.

— Это имя или фамилия? — спросила она.

— Имя, — ответил я и затем сознался, что полное мое имя — Оливер Барретт (ну, я имел в виду бóльшую часть своего имени).

— О, — сказала она. — Барретт... Как у поэтессы?*

— Да, — подтвердил я. — Но мы не родственники.

В последовавшей затем паузе я порадовался про себя, что она не задала обычного крайне неприятного вопроса: «Барретт как Барретт-холл?» Ибо я терпеть не мог, когда мне напоминали о моем родстве с типом, построившим Барретт-холл — самое большое и самое уродливое сооружение в Гарвардском университетском городке, колоссальный памятник нашему семейному богатству, тщеславию и вопиющему гарвардизму.

Потом она как-то притихла. Неужели мы так быстро исчерпали темы для разговора? Или она потеряла интерес ко мне, узнав, что я не родственник поэтессы? Что произошло? Она просто сидела и с полуулыбкой смотрела на

* Имеется в виду английская поэтесса Элизабет Барретт-Браунинг (1806–1861), жена поэта Роберта Браунинга.

меня. Чтобы чем-то заняться, я принялся листать ее тетради. У нее был странный почерк — мелкий и заостренный. Заглавных букв она не признавала (кем она себя воображает, э. э. каммингсом? *). И курсы она посещала довольно заковыристые: «Муз. лит-ра-105», «Музыка-150», «Музыка-201»...

— Музыка-двести один? Разве это не аспирантский курс?

Она утвердительно кивнула, не сумев скрыть гордости.

— Полифония эпохи Ренессанса.

— А что такое полифония?

— К сексу она не имеет никакого отношения, Академик.

С какой стати я все это терплю? Она что, даже нашу студенческую газету «Кримсон» не читает? Не знает, кто я такой?

— Эй, ты что, не знаешь, кто я такой?

— Знаю. Ты тот малый, которому принадлежит Барретт-холл, — сказала она с некоторым пренебрежением.

Нет, она все-таки не знала, кто я.

— Уже не принадлежит, — попробовал сосчитать я. — Мой великий прадедушка ухитрился подарить его Гарварду.

* Американский поэт XX века, отказавшийся от употребления заглавных букв в своих остросатирических стихах.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

— Чтобы его не слишком великого правнука приняли туда без проблем.

Ну, это уже слишком!

— Послушай, Дженни, если я ни на что не гожусь, то зачем ты напирала, как бульдозер, чтоб я тебя пригласил в кафе?

Она посмотрела мне прямо в глаза и усмехнулась.

— Фигура твоя понравилась.

Тот, кто хочет побеждать, должен уметь проигрывать. И это не парадокс. Способность обратить любое поражение в победу — типично гарвардская черта.

«Не повезло вам, Барретт. Но играли вы здорово!»

«Ей-богу, я рад, что вы не раскисли, ребята. Я ведь знаю, как вы не любите проигрывать».

Конечно, чистая победа куда лучше. Особенно когда ты вырвал ее в последний момент. Это самый предпочтительный вариант. Если, разумеется, есть из чего выбирать. Одним словом, провожая Дженни до общежития, я все еще не терял надежды взять верх над этой рэдклиффской занозой.

— Слышишь, заноза, в пятницу вечером хоккейный матч в Дартмуте.

— И?..

— И я хочу, чтобы ты его посмотрела.

ЭРИК СИГАЛ

Она ответила с обычным для Рэдклиффа почтением к спорту:

— Какого черта я должна смотреть какой-то паршивый хоккей?

— Да я играть буду, — вроде бы как между прочим объяснил я.

Последовала короткая пауза. Мне показалось, что я слышу, как падает снег.

— А за кого? — спросила она.



Оливер Барретт IV

Ипсуич, Массачусетс

Возраст: 20 лет

Рост: 180 см; вес: 84 кг

*Среднее образование: «Академия Филлипса»
в Эксетере*

Курс: выпускной

Основной предмет: общественные науки

*В списке десяти лучших на факультете: 1961,
1962, 1963*

Будущая специальность: юриспруденция

*В первой команде чемпионата университетов
Новой Англии: 1962, 1963.*

К этому моменту Дженни уже наверняка прочла мою биографию. Я трижды напомнил нашему менеджеру Вику Клейману, чтобы он вручил ей программку.

— Боже правый, Барретт, можно подумать, это твоя первая девчонка!

— Заткнись, Вик, пока в зубы не получил!

Когда мы разминались на льду, я не помахал ей рукой (еще не хватало!) и даже не смотрел в ее сторону. И все-таки она, наверное, думала, что я поглядываю на нее. Ведь не из уважения же к американскому флагу она сняла очки, когда исполняли национальный гимн?

К середине второго периода мы выигрывали у Дартмута аж 0:0. Иными словами, Дейви Джонстон и я вот-вот должны были распечатать их ворота. Зеленые черти это почуяли и начали грубить. Они вполне могли переломать кости некоторым из нас, прежде чем мы переломим их оборону. Болельщики орали, требуя крови. В хоккее это означает кровь в прямом смысле слова, или если с кровью не получится, то хотя бы гол. Как говорится, *noblesse oblige**, и я никогда не отказывал зрителям ни в том ни в другом.

Дартмутский центрфорвард Эл Реддинг рванулся в нашу зону, но я врезался в него, отобрал шайбу и бросился вперед. Трибуны взревели. Слева от меня бежал Дейв Джонстон, но я решил забивать сам, помня, что их вратарь

* Положение обязывает (*фр.*).

малость трусоват — я нагнал на него страху, еще когда он играл за Дирфилд. Однако бросить я не успел — на меня навалились оба дартмутских защитника, и мне пришлось проехать за ворота, чтобы не потерять шайбу. Втроем мы рубились за спиной у вратаря, сшибаясь и швыряя друг друга на борт. Моя обычная тактика в таких потасовках — молотить изо всех сил по всему, что одето в цвета противника. Где-то у нас под коньками металась шайба, но нам было не до нее — мы сосредоточенно старались вышибить дух друг из друга.

Судья засвистел.

— Вы! Две минуты штрафа!

Я поднял глаза. Он показывал на меня. Меня?! Что я такого сделал, чтобы меня удалять?

— Да ну, что я такого сделал?

Но он, похоже, не был расположен продолжать беседу. Подъехав к судейскому столику, он прокричал: «Номер семь, две минуты!» — изобразив руками допущенное мной нарушение.

Я, конечно, немного попрепирался — это уж так полагается. Болельщики ждут протестов, каким бы грубым ни было нарушение. Но судья от меня отмахнулся, и я, кипя от возмущения, покатился к скамейке для штрафников. Я уселся на место — коньки простучали по де-

ревянному полу — и услышал, как динамики рывкнули на весь зал: «Оливер Барретт, команда Гарварда, удален на две минуты за задержку». Толпа недовольно загудела. Несколько гарвардских болельщиков громогласно взяли под сомнение ясность зрения и объективность арбитров. Я сидел, пытаюсь отдышаться, опустив голову, и старался даже краем глаза не смотреть на площадку, где наши вчетвером сражались с пятеркой Дартмута.

— Ты почему здесь прохлаждаешься, когда твои товарищи играют?

Это был голос Дженни. Я оставил ее вопрос без внимания и принялся подбадривать своих:

— Держитесь, ребята, держитесь! Отними у него шайбу, ну!

— Чем ты провинился?

На этот раз я обернулся — все-таки Дженни пришла на матч ради меня.

— Перестарался малость, вот чем, — ответил я и снова прилип глазами к площадке, наблюдая за тем, как наши пытаются сдержать рвущегося к воротам Эла Реддинга.

— Это большой позор для тебя?

— Дженни, прошу тебя. Я должен сосредоточиться.

— На чем?

— На том, как я уберу этого ублюдка Реддинга, когда выйду на лед.

Я снова стал смотреть за игрой, стараясь оказать своим хотя бы мысленную поддержку.

— Ты любишь грубую игру?

Взгляд мой был прикован к нашим воротам, вокруг которых так и кишела зеленая нечисть. Мне не терпелось снова ринуться в бой. Но Дженни упорствовала:

— Может, ты и меня когда-нибудь «уберешь»?

— Прямо сейчас, если не заткнешься.

— Понятно. Я ухожу. Всего хорошего.

Когда я обернулся, ее уже не было рядом. Я поднялся, пытаюсь разглядеть ее в толпе, и в этот момент услышал, что мое штрафное время кончилось. Я перемахнул через борт и выкатился на площадку.

Трибуны бурно приветствовали мое возвращение. Когда Барретт на своем краю, у команды все в порядке. Где бы ни пряталась сейчас Дженни, она обязательно услышит, какое ликование вызвал мой выход. А раз так, кого волнует, где она сейчас?

Но где же она, черт побери?

Эл Реддинг сделал пушечный бросок, но наш вратарь отбил шайбу в сторону Джина Кеннауэя, а тот паснул ее вперед мне на ход. Устре-

мившись за шайбой, я решил, что у меня есть доля секунды, чтобы метнуть взгляд на трибуны и поискать Дженни. Так я и сделал. И сразу увидел ее. Она не ушла.

А потом я вдруг оказался задницей на льду.

Два зеленых мордovorота врезались в меня с двух сторон. Я утюжил лед задницей и — проклятье! — не знал, куда деться от стыда. Барретта завалили! Пытаясь затормозить скольжение, я слышал, как верные гарвардцы стонут от обиды за меня. И как болельщики Дартмута скандируют:

— Бей их! Бей их!

Что скажет Дженни?!

Дартмут снова привел шайбу к нашим воротам, и наш голкипер снова отразил бросок. Кеннауэй протолкнул шайбу Джонстону, а тот кинул мне (я уже успел встать). Трибуны бесновались. Надо забивать! Я подхватил шайбу и на скорости ворвался в зону Дартмута. Пара защитников бросилась прямо на меня.

— Вперед, Оливер, вперед! Врежь им по мозгам!

Пронзительный вопль Дженни перекрыл рев трибун. В крике ее было упоение битвой. Я ушел финтом от одного защитника, саданул другого так, что дыхалку из него вышиб, а по-

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

том, вместо того чтобы бросить в падении, я отдал пас Дейви Джонстону, который накатывался справа, и он всадил шайбу в сетку. Гол!

Мы бросились обниматься — я, Джонстон и остальные ребята. Мы тискали друг друга, хлопали по спине, целовались и прыгали от радости. Толпа оглушительно орала. А дартмутский защитник, которого я сбил с ног, все еще не мог оторвать зад ото льда. Болельщики швыряли на площадку программки. Этот удар переломил хребет противнику (в переносном смысле, конечно, — защитник отдышался и встал). В итоге мы расколошматили их 7:0.

Если бы я был сентиментален и захотел повесить на стену фотографию в память о Гарварде, то это оказался бы не Уинтроп-хаус, не Мемориальная церковь, а Диллон. Диллон-Филд-хаус, наш спорткомплекс. Уж если было в Гарварде место, где я чувствовал себя как дома, так это здесь. И пускай Нейт Пьюзи отберет у меня диплом за такие слова, но Уайднеровская библиотека значит для меня куда меньше, чем Диллон. Каждый вечер в течение всех моих университетских лет я входил под его своды, приветствовал ребят парой соленых

словечек, сбрасывал с себя мишуру цивилизации и превращался в спортсмена. До чего это было здорово — нацепить хоккейные щитки и свитер с добрым старым номером семь (тогда я мечтал, что его навечно оставят за мной, — черта с два, не оставили), встать на коньки и неуклюжей походкой направиться по коридору к выходу на площадку.

Возвращаться с игры было еще приятнее — отклеиваешь от себя пропотевшее снаряжение и нагишом шлепаешь к столику с чистыми полотенцами.

— Как сегодня игралось, Олли?

— Нормально, Ричи. Хорошо, Джимми.

Потом под душ, послушать, кто, что, с кем и сколько раз сделал в субботу вечером. «Мы этих мочалок из Маунт-Иды* приволокли, понимаешь?..» Не в пример остальным, у меня было местечко, где я мог уединиться и поразмышлять. Судьба благословила меня большим коленом (да, именно благословила — вы видели мое призывное свидетельство?), и после каждой игры мне приходилось полоскать его в вихревой ванне. Сидя на краю ванны и наблюдая за крутящимся вокруг колена водово-

* Колледж свободных искусств в Ньютоне, штат Массачусетс. (Примеч. ред.)

ртом, я пересчитывал свои синяки и ссадины (они мне чем-то дороги) и думал о чем угодно или ни о чем. Сегодня вечером я думал о своем голе, о передаче, с которой был забит другой, и о том, что фактически закончился мой третий подряд сезон в чемпионате университетов Новой Англии.

— Полощешь свою коленку, Олли?

Это был Джеки Фелт, наш тренер и самозванный духовный наставник.

— А ты что думал, Джеки, что я тут дрочу?

Фелт хмыкнул и по-идиотски осклабился.

— Сказать тебе, отчего барахлит твоя коленка, Олли? Сказать?

Я успел объехать всех ортопедов на Восточном побережье, но Фелт, конечно, знал лучше.

— Питаешься неправильно, вот отчего.

Я не проявил особого интереса.

— Мало соли ешь, понятно?

Может, если не спорить, быстрее отстанет?

— О'кей, Джек. Буду есть больше соли.

Бог мой, как он был доволен! Когда он уходил, его идиотская физиономия так и сияла от чувства выполненного долга. Зато я снова остался один. Я позволил своему сладко ноющему телу соскользнуть в водоворот, прикрыл глаза и остался сидеть там, погруженный по шею в блаженное тепло. Уф-ф-ф!

Черт! Ведь Дженни, наверное, ждет меня на улице. То есть я надеялся, что ждет. Несмотря ни на что! Господи! Сколько времени я пронежился здесь, в тепле, пока она мерзла снаружи? Одеваясь, я поставил новый рекорд скорости. Даже не обсохнув толком, я распахнул дверь главного входа в Диллон.

В лицо мне ударил холодный воздух. Бр-р, ну и колотун! И темень, хоть глаз выколи. Но все равно неподалеку еще маячила кучка болельщиков. Самые верные, в основном бывшие игроки, наши выпускники, в душе так и не расставшиеся с клюшками. Парни вроде старого Джордана Дженкса, который не пропускает ни одной игры с участием Гарварда — ни дома, ни на выезде. Как они ухитряются? Я имею в виду, Дженкс, скажем, — крупный банкир, дел у него хватает. А главное, зачем им это нужно?

— Да, уложили тебя сегодня, Оливер.

— Да уж, мистер Дженкс. Сами видели, как они играют.

Я обшаривал глазами окрестности в поисках Дженни. Неужели она не дождалась и пошла до самого Рэдклиффа одна?

— Дженни! — позвал я.

Я сделал несколько шагов в сторону от болельщиков, отчаянно пытаюсь разглядеть хоть

что-нибудь в кромешной тьме. Внезапно она появилась из-за куста. Лицо ее было упрятано в шарф, видны были только глаза.

— Эй, Академик, тут, между прочим, холод собачий.

Я не мог сдерживать радости.

— Дженни!

Подбежав к ней, я слегка коснулся губами ее холодного лба — это вышло как-то само собой, вроде как машинально.

— Разве я тебе разрешила? — спросила она.

— Что? — не понял я.

— Разве я разрешила тебе меня поцеловать?

— Извини. Увлёкся.

— А я нет.

Мы остались совсем одни. Было темно, холодно и поздно. Я снова поцеловал ее. Но уже не в лоб и не слегка. Поцелуй был долгим. Когда он кончился, Дженни продолжала держать меня за рукава.

— Мне это не нравится, — пробормотала она.

— Что?

— Что мне это нравится.

Всю дорогу обратно (я был на машине, но Дженни захотелось пройтись пешком) она держала меня за рукав. Не за руку, а за рукав.

И не спрашивайте меня почему. У дверей общежития я не поцеловал ее на прощание.

— Знаешь, Дженни, вполне возможно, я не позвоню тебе несколько месяцев.

Она помолчала секунду. Еще несколько секунд. Наконец спросила:

— Почему?

— А может, позвоню, как только войду в свою комнату.

Я повернулся и зашагал прочь.

— Вот гад! — прошептала она вслед.

Я снова повернулся и сделал победный бросок по пустым воротам:

— Что, Дженни, не нравится? А над другими поиздеваться любишь!

Мне страшно хотелось обернуться еще раз и посмотреть, какое у нее лицо, но это было бы стратегически неверно.

Когда я вошел в комнату, мой сосед Рей Страттон играл в покер с двумя ребятами из его футбольной команды.

— Привет, животные!

Мне что-то промычали в ответ.

— С чем тебя сегодня поздравить, Олли? — спросил Рей.

— Гол и пас.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

— Я насчет Кавиллери.

— Не твое дело, — отрезал я.

— Кто такая? — осведомился один из бегемотов.

— Дженни Кавиллери, — отозвался Рей. — Музыкантша и зубрила.

— А, знаю я ее, — сказал третий. — Все девочку из себя строит.

Не обращая внимания на этих озабоченных ублюдков, я распутал телефонный шнур и понес аппарат в свою спальню.

— Она играет на фоно в Баховском обществе, — сообщил Страттон.

— А во что она играет с Барреттом?

— В динаму, наверное!

Мычание, хрюканье, гогот. Животные развлекаются.

— Джентльмены! — объявил я, удаляясь. — Я вас имел.

Захлопнув дверь перед новой волной недочеловеческих звукоизвержений, я сбросил башмаки, шлепнулся на кровать и набрал номер Дженни.

Говорили мы шепотом.

— Эй, Джен...

— Да?

— Джен... а что ты скажешь, если я тебе скажу...

ЭРИК СИГАЛ

Я заколебался. Она терпеливо ждала.

— Мне кажется... Мне кажется, что я тебя люблю.

Молчание. Потом она ответила очень тихо:

— Я скажу: врешь ты все...

И повесила трубку.

Я не обиделся. И даже не удивился.